



Если подхвативший в бульварах фразу: *что-то надуло с Атлантики* — и прошедший сквозь серебристое, пунктирное, морсящее облако, день спуста является за воскресным чтением — в библиотеку или в книжный и тянет праздные руки к «Человеку без свойств», так потому что *над Атлантикой* в самом деле *была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону...* И кто оспорит, что книги нас видят и сами снаряжают себе почитателей: приглянувшимся ставят ловушки, подсвистывают, пускают по улице говорки со своими

сюжетными коллизиями, не то вкрапляют в вывески и витрины свои ключевые слова. Правда, порой бездарно путают чтецких — кто-то с похожим лицом, в единообразных одеждах... К тому же и присмотренные поклонники вправе надменно не опознать подвешенные и выброшенные указатели и плоские намеки. Кому-то мерещится золотой столбец, а другому — свитый из пыли.

Веселые мастера оптических трюков интересуются: что вы наблюдаете? Вазу с фруктами — или классическую чету профилей? А может, нахватавшуюся изгибов и складок цитату нудистского пляжа? Би-

биотечные стеллажи — или подернутые буквами и вялым листом каменные плиты и глиняные сугробы? Непрочитанное — или ненаписанное? Итого: легко двинуться неправильным путем, не отдав должной щедрости двойной экспозиции и камуфляжным жанрам...

Грандиозная толпа бумажных персон заметила меня еще в детском саду и не оставила в полушкольном возрасте. Мэтры, великаны литературы толпились где-то на задах, пробивались с трудом, но верили: самое надежное и жизненное — живая очередь. Так что наперво, не чинясь с иерархией, прошумели сквозь дом моего советского детства, иногда сапогом по девичьей постели — царевичи, кощеи и мокрые царственные лягушки, а из мелких бытовых единиц ходко выкручивались джинны... Изумрудные волшебники и Урфины Джусы, Незнайка и смешавшиеся со своими создателями деревянные солдаты, простые и шахматные. Многофигурная, моноклассовая, говорливая фауна Бианки делилась со мной своими большими и малыми человеческими историями... Напирала благонравный Васек Трубачев, любимая детская подруга Динка, Пети и Гаврики на всех парусах с продолжениями и еще кое-какие Артемки, возвышенный, романтический Тимур и Витя Малеев, Лелишна из третьего подъезда, капитаны — два и шире, будоражащая дорога, уходящая вдаль, Алиса и Белый Кролик, мушкетеры, граф Монте-Кристо, Шерлок Холмс и патер Браун, в конце концов — заправленный грозой профессор Челленджер и прочие, прочие... По прочтении Носова определилось, что радиатор центрального отопления вскоре высидит мне веселую семейку из яиц по рубль тридцать, а поднесенный на окончание первого класса и обожаемый навсегда «Дом с волшебными окнами» оказался чреват — переписыванием с большой правкой, запалившей волшебные окна, — много ближе. Плюс навык — переписывать чужие тексты так, как, согласно моим предположениям, должно быть. Кое-что свеженарисованное (свежепереведенное) печатали дроблеными извлечениями в «Пионерской

правде», в «Науке и жизни» — и меж номерами тьма поглощала меня.

Посему сказочно избыточные иллюстрации детских книг и действительные пейзажи давно прошедшего у меня настойчиво сливаются. Выставленная над сияющим подземельем пунцовая «М» всегда переносит меня на одну непогасшую страницу: люди середины двадцатого века — на эскалаторе и, конечно, с открытыми лицами и радостными улыбками, густые прически уложены волной, широкоплечие длиннополые одежды, пышные юбки, осиные талии — и регулярно перемарывают, преображают всякий данный мне в ощущения эскалатор... Катастрофически подобен! Воздушные поляны распахнутого на летнем полдне леса и плавающие меж стволов золотые лани позволяют населить каждый мой лес валяжной, временно отступившей за стволы фауной... Река, на которой потерялась барышня Маруся Шварц, несомненно, пасла стадо волн своих за углом моей старой улицы имени Розы Л.: заверни за угол и чуть спустись... настоящая Исеть будет пониже — и решительно аскетичней, чтоб не сказать — суше, а эта — вместо улицы Гоголя. Или отпихнув ее пышным бедром. Так что от разбитой голубой чашки мы уходили на ту сторону именно этой реки, я — в третьих, если даже река забыла быть упомянутой... Однако, пройдя возрастные изменения, увы, цинично спуталась с каналом, в котором утопили Розу Л., как погашенную папиросу... Река утерянных душ и прочих материальных трат, вполне проблемная территория. Два норвежских ребенка рисовали волшебным мелком все, о чем мечтали, абсолютно точно — на заборе возле нашего дома. И снимали сей же час завязавшиеся вещи — с его серых досок, возможно, с фирменным лейблом на боку — обрывком неприличной заборной надписи на руссиф. Кстати, в этой благословенной повести существовал таинственный и особенно пронзительный момент — герои не в силах затвердить рисунок, каковой должна выписать в воздухе волшебная палочка, — и лишь тогда волшебство свершится. Начертание то заводит

сходство с сэндвичем, то, как я не слишком правильно помню, близко к выпренной детали дворца или архитектурному облому града небесного...

Что наблюдаем? Реальное — или никто не возражает, что мир вокруг прорезан и прослоен... имеет, как говорил Мамардашвили, привиденческий характер. Правдив, как *отражение в канале, в котором Розу доконали...* По крайней мере, состояние потрепанное.

Когда персонаж Сочинитель, например, ревностно начиняет и расставляет прошлое и настоящее мелковатыми плодами воображения, призраками, фантазиями, протоколами общих собраний и иными ценными данными, мне в помощь — эти полуреальные, недореальные ландшафты и накладки. Похоже, опять я не так пишу — свое, как скрупулезно передергиваю — чужое. Надеюсь, что, кроме нас, еще кто-нибудь ведет достойный посреднический труд — и, переписывая одну и ту же книгу, не подчищает созданное, но твердо приумножает. Хотя во время разбойничьей деятельности по преобразению реального можно приблизиться к мысли: не важно, что случилось на самом деле, а важно как бурно я реагирую на то, что осталось. Принимая то, что сам себе выкопал...

Но можно себя легко простить, поскольку место помнит и сохраняет и себя, и насельников своих, и простых топтунов — лучше, чем сами перечисленные. Блюдет свои стати — и не позволит наложить на себя слишком широкую лапу, но срежет зарвавшихся.

Внезапно открывшийся мне с улицы длинный двор не намерен ускользать — но, перелистав дугу своих страниц, открывает для меня и швыряет вдоль ветра — улику, озаряет старую фотографию с обломанными краями: с обломанным эпизодом из вечной пьесы, давно похеренного спектакля-однодневки, и главная декорация — разумеется, данный двор.

Не здесь ли взбаламученный старик в креслах, одной рукой поддерживая за спиной свой радикулит, воздевал в другой фото вместо штандарта и гордо кричал:

— Да это же я — в роли Меркуцио! Думаете, я сразу стал судьей? Как же! Я окончил юридический факультет в тридцать пятом году. Но Родина бранилась: юристы! Преступность в стране снижается, а они все еще желают улучшить себе работу! Ну попробуйте... И я приравнял себя к комедиантам. Я плюнул и пятнадцать лет трудился в детском театре, скитался по разным спектаклям и — да, что говорить, разбрасывался. А потом смотрю: дудки, есть у нас еще кое-кто — носитель зла. И думаю: дай-ка я его высажу! Хоть часть его... Посему блудный сын развернулся на полпути и возвратился в юриспруденцию.

Половинный старый лев и столь же недооволощенный юноша Меркуцио в объятиях барского халата, или тоги, или мантии, — *стань предо мной, как облачко, как вздох! Произнеси полстрочки, и довольно.* Мой почти пропавший поход куда-то за площадь, в старые улицы, где и случился этот раскрывшийся наново двор. У меня было поручение: присмотреть в старике тень главного героя, который успешный молодой адвокат, недолговременное и куцехвостое документальное зрелище — короткий метр.

Рядом с креслом вспененного комедианта металась столь же старая и не меньше крикливая жена. Комедиантская жена не отпускала мой рукав и говорила: «Ну о ком вы интересуетесь? Вы пришли, чтобы он рассказал вам о своем студенте. Ученике! Кого вы собираетесь снимать? Разве кому-то еще непонятно, что снимать надо — его?!» — и упирала перст в мужа.

Половинный старик с разбитой спиной и проросший в нем молодой Меркуцио — оба смеялись, оба сыпали рассказы и, подмигивая, пришепывали присказку: *как говорил мне один заключенный...*

От всего человека нам остается часть речи... Даже если это не речь Бродского. Но, помня о том, я стараюсь по Бродскому: дело привычное, почти благородное — цыганишь чей-то знатно произнесенный пассаж, отрезок, огрызок — и придерживаешь, а говоривший — ну его в бездну... куда уж сколько их упало. Столкнуть — с целью за-

владения имуществом. Далее и более не принадлежит своей речи, *ах, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптелка*, зато его речь — уже моя, если повезет — наша. Как говорил в интервью видный (кому-нибудь) писатель З.: в одном из моих изречений я заметил... Как Мы изrekli, и как заметили — тоже Мы.

Кто желает воскресить по одной его фразе — да обретут себе Лазаря по собственной мере...

Мои писательские начала катились бок о бок с революционным: непослушание, прорыв к свободе, ужас перед возмездием, презрение к таковому... И скука, скука от готового ответа за налаженные поступки... Повествование об огненноликом Фиделе Кастро и его феерическом въезде в майский Свердловск 1963 года. Мне страстно хотелось увидеть воочию, хотя бы из моего второго класса — титана Фиделя, грандиозного, и тем естественно принять участие в великой кубинской революции. Говорят, заодно с Ф. К. нас посетил и сам Че Гевара, но кто второклассник тех времен его знал — и кто нынешний? И кто слышит все разговоры? Зато наша школа случилась как раз недалеко от их революционной тропы, то есть временной ее местной ветки — в трех завистливых вздохах от площади, где тропа забрасывала кольцо и летела вспять. Тут-то и не подпустили — к красавцу тридцати двух лет, прельстителю Ф. К. — то ли все младшие классы, то ли несчастный наш, а на встречу — согласно разнорядке — повели параллельный второй... словом, мой класс вышел низковат. В отказниках. Запрещено! Молчать! И без глупостей марш на урок!..

Мы были три ослушника, еще ищущие себя, но на этом витке избравшие стандарт героев, высокомерно не подчинившиеся — я и два приятеля. Нам угрожали: если переметнетесь на сторону Фиделя и острова Свободы, вряд ли вам так уж незрело возвращаться обратно. Но мы бежали.

И мы видели этот карнавал! Многошумящую захватывающую азартную толпу — перечеркнута взмахами ликования, покрыта

роем бумажных флажков — бело-голубых, с красным треугольным венцом, и кущами тоже бумажных цветов. Рассекающие поток блестящие транспорты, начерно уподобленные *чайкам*, и на носу кортежа — гальянская фигура: молодой, загоревший до бронзы рыцарь в черной бороде и бесстрашном берете со звездой! О! Оттертые от главной дороги ленточкой ослеплены — и вовсю надсаживают глотки: «Вива... Вива, Фидель! Куба — любовь моя...»

Великолепное цветковое, звуковое и динамическое решение. Концентрируемся на прекрасном, безукоризненном, недостижимом. Да уподобимся острову Свободы! Настоящему — или переписанному, такому, как должен быть...

Хотя наутро пришлось-таки склонить голову и потянуться в извергнувшую нас с комом проклятий школу. Правый из нас прибыл в связке с немаловажным папой, так что сей же час был запущен, но и — с некоторым пренебрежением. Левым нам, явившимся налегке — без заинтересованных представителей клана, состряпали Страшный Суд: постановка перед классом, сравнение с врагами народа — и длиннейшая, богато распространенная проповедь, впрочем, с хорошим вердиктом — продолжить существование. Да и клеймили нас под присмотром лучшей учительницы. Дальше меня и многих пасынков старшей советской школы изводили — уже изощренные в опытах... и на которое учебное заведение до сих пор скрежещу зубами. Лучшая же — нравоучительница, наш просветитель — завела в первом классе обязательное домашнее чтение: каждый подследственный, то есть обучающийся, штудирующий, одолевающий или кто он есть, — странствует по книгам не менее часа в день, сверх которого позволено забывать о времени, всенепременно же занести в тетрадь автора, название маршрута — и предъявить. Посему полвека спустя можно восстановить круг тогдашних чтений и толкований, тех сладчайших, слизанных веком... Впрочем, с нашей лучшей учительницей нам пришлось проститься вполне скоро — уже через год. Обратившая

к одному малоприятному ученику — то ли беспощадное поучение, то ли малое почтение — была взята на заметку злокозненной его родительницей, не потерпевшей безобразия, и поскольку нашлась всемогущая и многорукая, наш светоч был сброшен с высочайшей горы ее гнева — в прах.

Прокубинский опус разостлался во всю тетрадь за две копейки и снискал кичливое, но полуправдивое звание — *краеугольный камень*. Со дня написания — не перечитан, хотя иногда выпадает из насыпи старых бумаг, лавируя на помятых клетчатых крыльшках.

Но моими истинно первыми были *волшебные книги*, и куда раньше: в первом классе. По прочтении «Волшебника Изумрудного города» или ли чего-то не менее изумрудного мы с одноклассником углубились в производство волшебных книг. Внутри — заклинание наугад: две строчки абракадабры, и чем более непонятны слова, тем могущественнее. Формат — с ноготок, но альбомный и подобен живописи на рисовом зерне, чтоб затеряться в закоулках одежд. Но при обнаружении жизненных проблем — немедленно извлечь и прочесть волшебную книгу... ибо написанное — не прошептать, не повторить, не запомнить, как дыр бул щыл убещур, наша неразбериха — покруче. И к тому же мгновенно изменит расстановку сил — в пользу униженных и оскорбленных! Как же я до сих пор сожалею, что оставила сей образцовый литературный жанр... Или он оставил меня?

С тех пор как меня в незначительном школьном возрасте отвергли пионервожатые на кастинге к спектаклю «Двенадцать месяцев», постыдно не различив ни актерского жара, ни выразительной фактуры, ни просто типажной, и не допустили участвовать в манипуляциях с ходом времени — даже в роли куста на тающей поляне или вязанки хвороста, мне пришлось — оставаясь в несогласных и в бездонной ипохондрии — жить линейно, последовательно, не перебрасывая события, не облетая их вокруг — вдоль прошлого и будущего. Но пронся через всю жизнь раскованность

и легкость спектакля — и двух прелестников, одноклассных королевских глашатаев, коим подвязали под коленками школьные брюки ленточкой — и превратили в панталоны с бантами...

Не уподобиться ли кроткому клеточному зверю, с которым мы встретились на трамвайной остановке? Кто-то рядом со мной держал клетку — и за долгим отсутствием трамвая мне позволили подробно рассмотреть ее обитателя. То был ничтожный зверь, едва доросший до среднего снежка, а на спину насыпалась коричневая клякса с чьей-то ветхой руки. Домогающиеся трамвайных путешествий все прибывали, кругом поднимался гул голосов, спорились скрежещущие, визжащие и пыхтящие звуки, они же — чуть глуше — по ту сторону дороги. Ничтожный зверь пребывал в ужасе — он плотно законпятил собой угол клетки, кое-как бросив сбоку хвост, и не смел шевельнуться. Перед ним сверкал просторный решетчатый апартамент, почти трехкомнатная квартира — и соблазняла излишествами, и своей беспримерной чистотой, и водящейся между прутьев острой свободой. Зато с высот спускались и грозно покачивались висячие посуды для яств и напитков, правда, тоже новейшие и идеально пустые. Зверь отчаянно старался не спугнуть посуды и на глазах становился все меньше и угловатее. Кто, как не этот зверь, равен мне — ужасом перед миром, и разве не таково же мое смирение?

Проверка кротости: перейти стаю голубей, ушедших по крыльях — в расход хлебного конуса, расколотого об асфальт, и лавировать — между... Скользить так плавно, как свежи воспоминания о невесомом ансамбле «Березка». Не смахнуть — ни птички, не приподнять — ни крыла! *А может, лучшая победа над временем и тяготеньем — пройти и не оставить следа...*

Или пора уподобиться встреченному в тех же улицах *другому* другому — воссевшему на складной стул барабанщику, чтобы съехать носом в два маленьких бочонка — в их круглые лоснящиеся физиономии, и самозабвенно и насадно раздавать им пощечины, глуша округу и никого и ничего, кроме

варварства, не замечая. У ног его на снегу стоял короб для гонорара, много глубже обоих барабанов. Но большинство идущих не сносились с извергом, истязателем барабанов, ни взором и пытались проскользнуть — между пощечин, и музыки с нами, и скорей вступить в дальний пейзаж, пусть и мелкотравчат.

Не так ли сижу и я на улицах собственных текстов и напропалую барабаню — но моя часть ударной речи никого не прельщает, разве — таянье...

Между тем на одном из бесчисленных поворотов мне открылась грандиозная осень. Высокие, во много человек и их объятий деревья: портики на меандрических, точнее, витиеватых колоннах, перекошенных — сложными отношениями с вертикалью, точнее — пересекающихся... Взлетевшие на тяжелых крыльях триумфальные арки, священные шатры или балаганы, щедро умощенные грозным золотом, пугающими кроваво-пунцовыми приношениями и распускающейся хищной ржой. С вершин спускались чаши с солнечным сиянием и с лазерными воздухами, а меж стволами клу-

бились блистающие свободы. И гул постаившей листвы и сорного ветра, и усиливающихся прорех, разрывов, пробелов, и многие голоса шумели вокруг. И пока я размышляла — о том, как запечатлеть это великолепие, увековечить, обессмертить, или о том, что решительно ни к чему отвергать хватающую меня там и тут привычку к уподоблениям — в пользу скоропортящегося «я», стремления к свободе — и прочая блажь, если можно значительно укрупнить себя, сравниться с колоссами, неважно, в чью пользу, и так прикрепиться к ним, расположиться на их широких плечах, где-то рядом всплывший, ожесточившийся голос паниковал: *дальше заперто!* И кричал: *«Впереди дорога уходит под землю, а может, ее относит к морю — кверху килем...»*

Но другой чей-то голос мне тоже был различим — и заметил: *«Просто поблагодари за то, что тебе это показали...»* И говорил: «Вот он — тот прихотливый узор, какой должна начертать волшебная палочка. И если запомнишь и повторишь, тут тебе и карты в руки».

Так уподобимся же волшебной палочке!